

Борис Носик

Пионерская Лолита



Часть сборника
Пионерская Лолита (сборник)



Борис Носик

Пионерская Лолита

«Автор»

1977

Носик Б. М.

Пионерская Лолита / Б. М. Носик — «Автор», 1977

"В сущности, эта поездка в лагерь была для библиографа Тоскина спасением – иначе он с неизбежностью угодил бы под сокращение штатов. Впрочем, может быть, спасением лишь временным, потому что сокращение грозило продолжиться осенью. Да и кому, честно говоря, нужны все эти библиографические кабинеты, если книг становится с каждым годом все меньше? Впрямую Тоскину о сокращении еще ничего не говорили, так что, объясняясь с собой, он мог придумывать какие угодно мотивировки, почему он согласился сюда поехать. Он согласился, скажем, потому, что ему надоело торчать в городе и представилась наконец возможность провести лето в деревне. Он согласился, потому что любит детей, – и это чистая правда. Он согласился, потому что в душе он – просветитель, а тут ему представляется возможность просвещать юные души, сеять разумное, доброе, прочее..."

© Носик Б. М., 1977

© Автор, 1977

Борис Носик

Пионерская Лолита

Повесть

И.О. с любовью

Пионерские тексты, встречающиеся в этой повести, собраны кафедрой педагогики и комитетом ВЛКСМ столичного пединститута имени Ленина и опубликованы ими в «Сборнике методических и практических материалов: Студент – вожатый отряда в пионерском лагере» (составители Гончаров, Николаев, Пантелеева, Кузьмин, отв. ред. Капина В. А.), Москва, 1969 г., часть 2.

Автор приносит благодарность коллективу кафедры и комитету ВЛКСМ, сделавшим достоянием читающей массы эти ценные тексты, служившие доныне лишь узкому кругу пионеров и педагогов.

В сущности, эта поездка в лагерь была для библиографа Тоскина спасением – иначе он с неизбежностью угодил бы под сокращение штатов. Впрочем, может быть, спасением лишь временным, потому что сокращение грозило продолжиться осенью. Да и кому, честно говоря, нужны все эти библиографические кабинеты, если книг становится с каждым годом все меньше? Впрямую Тоскину о сокращении еще ничего не говорили, так что, объясняясь с собой, он мог придумывать какие угодно мотивировки, почему он согласился сюда поехать. Он согласился, скажем, потому, что ему надоело торчать в городе и представилась наконец возможность провести лето в деревне. Он согласился, потому что любит детей, – и это чистая правда. Он согласился, потому что в душе он – просветитель, а тут ему представляется возможность просвещать юные души, сеять разумное, доброе, прочее. Он согласился, наконец, потому, что не знал, как отказаться, когда предлагает начальство, как вообще отказывают начальству. Еще он согласился, потому что, как все библиографы и критики, считал себя в душе немножко писателем. Задавая себе вопрос, какой он писатель (в душе), он отвечал (себе же), что, скорее всего, он писатель детский, так что для него естественным был этот выход к материалу, тематике, детской аудитории.

Так или иначе, Тоскин дал согласие и был откомандирован педагогом в пионерский лагерь, обслуживающий КБ некоего ББ, закрытого предприятия, связанного с их бибкабинетом какими-то шефско-профсоюзными и комсомольско-партийными узами (о последних Тоскин знал совсем уж мало, поскольку был беспартийным и давно вышел из комсомола, так что, если бы не все приведенные выше резоны, он мог бы от такого летнего времяпрепровождения спокойно отказаться).

И все же, что ни говори, это было приключение, и он был теперь доволен, что согласился, даже сегодня не сожалел, в день выезда, день умопомрачительной суеты, когда вдруг показалось, что детей слишком много, что они слишком неорганизованны и что организовать их просто не представляется возможным. «Сэ тро», как выразилась худенькая пионервожатая Вера Чуркина. «Это уже слишком». Она сказала это по-французски, потому что была студенткой французского факультета, без пяти минут учительницей, и Тоскину, который французский язык (как и другие европейские языки) знал весьма умеренно, это «сэ тро» показалось более выразительным, чем русское «это уже слишком»: приятен был также тот факт, что незаметно – миловидная Вера произнесла это вполголоса, лично для него – наметился таким образом некий интеллектуальный контакт, ибо французский язык сам по себе был уже признаком образованности, если не целым образованием. Утешительно для Тоскина было и то, что не он один

ощущал растерянность среди нынешнего столпотворения, а эта милая Вера тоже. Разглядев ее внимательней, Тоскин нашел, что она прекрасно сложена и очень мила (для Тоскина составлял предмет постоянного удивления и даже повышенного патриотизма тот факт, что при внимательном рассмотрении столь многие русские женщины содержат в себе нечто весьма привлекательное и достойное всяческого внимания). Справедливости ради Тоскин отметил про себя и тот факт, что они с Верой могли предаваться своей растерянности именно потому, что нашлись люди, которые в этой неразберихе и многолюдье чувствовали себя, как рыба в воде, – признанные полководцы и вожаки несовершеннолетней массы. Таков был отставной майор, начальник лагеря. И таков был старший вожатый Слава, атлетически сложенный, с правильными чертами лица и отлично поставленным голосом, словно бы специально созданным природой для таких вот случаев или детских профсоюзных елок где-нибудь во Дворце спорта. Славе удалось согнать эту массу в отряды, а потом разогнать ее по соответствующим автобусам, отделив от самых приставучих из родителей, которые устроили из этого события нечто вроде надрывных солдатских проводов. Позднее, уже на территории лагеря, Слава так же успешно сгонял и разгонял эту массу детей, пока наконец каждый из них не получил свое место в отряде, в спальне, в умывальной, в столовой и даже в уборной.

Только тогда, отправив детей на мертвый час, руководители смогли наконец оглядеться, перевести дух и собраться (с некоторым даже чувством одержанной победы) на первую летучку-планерку в кабинете начальника лагеря. Сидя за столом совещаний, Тоскин впервые рассматривал изблизи своих коллег... Вот жизнерадостная воспитательница Валентина Кузьминична, в зимнюю непогоду учительница русского языка где-то в глуши московских новостроек, женщина с могучим крупом и набело перекрашенными волосами. Вот вожатый Валера, который, конечно, не дотягивает до Славиного совершенства, но, без сомнения, к нему стремится. Вот старшая повариха, женщина с очень большой грудью и профессионально румяным лицом. Вот физкультурник, молчаливый сухопарый человек с лицом, изможденным бессмысленными физическими упражнениями. И наконец, вожатая Вера Чуркина – она застенчиво примостилась на краю стола, приготовив карандаш, чтоб записывать мысли начальника.

Начальник был весел и преисполнен энергии. Тоскин подумал, что он, может быть, после долгого перерыва получил наконец в свое распоряжение руководимые массы и мог предаваться привычному делу руководства. Во всяком случае, он начал свою речь со вкусом и с удовольствием:

– Итак, товарищи педагоги, – я всех вас называю педагоги, потому что партия всем нам доверила большое воспитательное дело, – итак, начнем, пожалуй, как говорил наш командир полка. Надо всем и каждому составить план работы и вручить его завтра или послезавтра в шестнадцать ноль-ноль Славику... – Слава серьезно кивнул. – И с ходу начнем развернутую подготовку к открытию лагеря. К нам могут приехать товарищи из завкома или даже из райкома. И во главе угла, товарищи, надо нашему новому лагерю дать свое наименование, потому что лагерь без наименования – это... – Начальник задумался. – Это как офицер без звания, вот как. Школьный отдел райкома предложил назвать лагерь именем пионера Руслана Карабасова – у них есть список, предусматривающий, чтоб все лагеря района не называть одинаковым названием – «Космос» или, скажем, «Ракета». Какие будут предложения, товарищи педагоги?

– В порядке справки, – сказал Слава, – Руслан Карабасов – это был маленький герой и мститель во время Великой Отечественной войны.

– Так и назвать «Пионерский лагерь имени пионера-героя Руслана», и дальше даже по отчеству и фамилии, – предложила Валентина Кузьминична.

– Очень длинно, – сказал Слава, – мне художнику заказывать материи не хватит.

– Может, «Маленький герой», романтика чтоб была, – предложил Валера, и тут все посмотрели на Тоскина, потому что он был в некотором роде литератор, во всяком случае, работал в каком-то там гуманитарном кабинете, где маленькая зарплата.

– Да вот так и назвать, – сказал Тоскин с небрежностью человека, получающего маленькую зарплату, – «Маленький герой». Или как вы еще сказали, Слава, кто он был?

– Юный мститель.

– Вот-вот, очень романтично, «Юный мститель», – проговорил Тоскин, смутно припоминая какое-то книжное заглавие (ибо значительную часть его эрудиции составляли именно заглавия, с аннотацией или без): С. Иванов, «Юный мститель», издательство ДОСААФ...

– Понятно, – сказал начальник, – после тихого часа весь личный состав прошу на полдник. И поторопиться с планами. Задача поставлена.

– За работу, друзья, – с энтузиазмом сказала Валентина Кузьминична. – Помните, как там у Горького...

Никто не стал помогать, как там было у Горького, да Валентина Кузьминична не очень настаивала. Может, она уже и сама забыла, как там у него было написано, у Горького, и зачем.

Выйдя с планерки, Тоскин решил прежде всего оборудовать для себя приватный кабинет где-нибудь по соседству с так называемой «пионерской комнатой» – обширной верандой, оформленной по образцу полковых «ленинских комнат», то есть размещающей на своих стенах наибольшее количество печатных и от руки написанных пропагандистских материалов. Объясняя значение пионерской комнаты, начальник лагеря указал, что это «лицо» лагеря, по которому посторонние смогут судить об уровне боевой и политической подготовки (мирная терминология пока еще давалась начальнику с трудом). Надо сказать, что в надписях и лозунгах, украшающих стены, Тоскин обнаружил большое количество пока еще не вполне понятных для него терминов. Это были лингвистические отложения быстроменяющихся организованных кампаний и взрослых «придумок», направляющих детскую жизнь в общественно-полезное русло: «Светлые задумки – красным следопытам!», «По красным ступенькам в грядущую явь!», «Никакой халтуры – в сборе макулатуры!», «Дорогами отцов – путями эстафеты качества и зеленых патрулей!», «Для каждого сердца святыне страницы...» (сами страницы на этой стене уже не уместились).

Поняв, что близ этой комнаты и будет протекать его трудовая деятельность (или – хотелось бы думать – имитация трудовой деятельности), Тоскин принялся искать индивидуальное логово. И вскоре нашел его. Одна из трех дверей пионерской комнаты была наглухо загорожена большим, во всю стену, стендом «Маршруты семилетки», в результате чего за пионерской комнатой образовалась малюсенькая веранда со специальным входом и крылечком, осененным молодыми кленами. Поскольку никто не посчитал этот лишенный своей прямой функции вход в пионерскую комнату за отдельное помещение, о нем и вовсе было забыто. Сторож, на основе личной договоренности (и личной же благодарности размером в три рубля), изготовил для Тоскина внутренний и наружный запоры к этой двери. Затем Тоскин притащил из заброшенного сарая маленький столик и портреты. Он заставил окна изнутри большими портретами Пушкина, Достоевского и Дзержинского, придав, таким образом, своему логову одновременно и внушительность и интимность. Других портретов Тоскин просто не смог отыскать в сарае, который он подверг разграблению. Теперь у Тоскина был свой уголок, и притом уголок достаточно укромный, что было очень важно для самой организации труда, ибо Тоскин установил в результате своей долгой трудовой деятельности, что никто не должен с точностью знать, чем ты занят и сколько времени ты затрачиваешь на ту или иную трудовую операцию. Он знал, что открытое безделье так же, как всякое занятие, не связанное напрямую с выполнением производственных заданий, подвергает тебя опасности гонений и дополнительных нагрузок. Посильная же конспирация приносит тебе как максимальное освобождение от постылых трудов, так и внутреннюю свободу. Эти полезные сведения Тоскин приобрел еще на заре своей трудовой бездеятельности, на армейской службе. И так как даже тогда у него не было юношеской амбиции прослыть лихим сачком и филоном, не было никакого геройского тщеславия, то он уже тогда ухитрялся без труда имитировать простейшие трудовые движения (от чистки картошки

до чистки оружия), глядя при этом мимо рук – в книгу, раскрытую на коленях. В этой имитации бесталанного послушания и трудовой малопригодности протекала впоследствии вся взрослая жизнь Тоскина, слывшего когда-то, в ранней юности, многообещающим студентом...

Закончив оборудование своего гнездышка, Тоскин решил, что теперь он очень быстрым и деловым шагом пройдет по территории лагеря и покажется во всех отрядах, так сказать, в русле подготовки к открытию, а уж затем окончательно окопается у себя на верандочке в тени Достоевского с Дзержинским.

У соседнего финского домика вожатая Вера строила свой отряд на полдник. Кивнув ей, Тоскин сказал вполголоса:

– Надо обсудить кое-что. Позднее.

Прислонясь к веранде и наблюдая процедуру построения, Тоскин предавался ленивым размышлениям о том, что, будь он сейчас ребенком, он ни за что не поехал бы отдыхать в пионерский лагерь, где в столовую водят строем, а иногда дорогой даже заставляют петь. С другой стороны, Тоскин не мог упускать из виду, что в пионерский лагерь едут лица, еще не служившие в армии и не имеющие к ней отвращения, так что все устроено разумно и прекрасно. К тому же дети, в отличие от служилых мужчин, совсем не против поиграть в войну или в армию, иначе откуда взялись бы все эти скауты, бойскауты, юные разведчики, вот, кстати, было бы тоже неплохое название для лагеря, «Юный разведчик». Нет, нельзя сказать, чтоб они сейчас строились очень охотно, эти бунтующие современные дети (нелегко с ними приходится бедной Верочке), однако, в принципе, все эти дисциплинарные трюки, кажется, не вызывают у них ни вольнолюбивого бунта, ни даже серьезных возражений.

– В колонну по четыре... Девочки, у вас шесть человек... Хорошо, если хотите, разбежимся по двое... В колонну по два...

Две передние девочки оказались возле Тоскина. Одна из них была яркая блондинка, очень налитая – такие формы и в двадцать три не всякая обретает, неудивительно, что она оглядывает мальчиков со снисхождением зрелой женщины, знающей им цену, но все же ожидающей, что хоть один из них поднимется до уровня взрослого мужчины, понимающего, в чем смысл жизни. Вторая... О, черт, вторая – она вдруг посмотрела на Тоскина ясным, безмятежным взглядом своих темных, блестящих, промытых глаз – только когда этот взгляд отпустил его наконец с повинной, он разглядел также ее припухлый носик, ее губы, удивительно дерзкого рисунка, тоже припухлые, разглядел припухлость ее груди и тонкую длинную руку, поднятую к густым волосам... И снова ее глаза поймали его – что-то в них появилось новое, вероятно, любопытство, чуть-чуть кокетства и, кажется, мысль, да, вот именно, это была мысль, девочка думала, она переживала какие-то свои тревоги... Тоскину на мгновение пришло в голову, что и ее любопытство, и тревога могли быть связаны с ним, с этим невольным пересечением их взглядов. Он пережил волнение, но потом стал гнать эту мысль прочь, как изгонял теперь из своей жизни все, что грозило осложнениями и неприятностями.

– Таня! Ну, Таня... – томно сказала ей половозрелая подруга. – Поправь же мне галстук!

«Таня. Значит, ее зовут Таня... Да, так о чем же я? А... ребятишки. Занятные. Верочке придется с ними трудно».

«И тебе придется с ними трудно», – прогундосил внутренний голос Тоскина.

«Мое дело сторона, – с твердостью ответил Тоскин, – я не вожатый. Я только воспитатель. Без четких обязанностей. И чуть-чуть наблюдатель. Будем сеять разумное, доброе, всякое. Ясно? Вообще, я не с ними. Я не здесь. Я всюду. Надо идти дальше».

Тоскин направился в соседний отряд, где происходило такое же построение под руководством энергичного карьериста Валеры. Пионеры строились мучительно бестолково, и Валера подбадривал их пронзительными криками, каким, по мнению Тоскина, он мог научиться только у армейского старшины. Увидев Тоскина, Валера стал кричать еще пронзительней, и при этом даже синтаксис у него стал старшинский:

– Брюкин, тебе касается!

Тоскин с независимым видом прошел мимо, бормоча себе под нос:

– Мне не касается. Вы тут наводите дисциплину, укрепляйте строевой шаг, поднимайте боевой дух, а я бочком, к другим, вот они маленькие, вот они...

Малыши, пионеры младшего отряда, чинно следовали на полдник, взявшись за руки, парами, как в детском садике. Они и были питомцы детского сада, оттуда принесли свои традиции, свежие еще воспоминания, закалку. Проходя мимо Тоскина, они нестройно его приветствовали:

– Здравствуйте, дядя!

Тоскину это было приятно. Он был, таким образом, отчасти вознагражден за огромную, трагическую разницу в их возрасте. Впервые он ощутил сегодня эту старческую тягу к почестям, столь очевидную у всякого старика, будь то редактор жэковской стенгазеты или маститый писатель Катаев.

Отряд прошелестел по траве мимо, а Тоскин еще стоял, утирая слезу умиления, когда увидел вдруг на дорожке пару «мальков». Может, первоначально они и не были парой. Может, это была отставшая шеренга, часть «колонны по два». Однако колонна ушла вперед, и шеренга стала просто парой. Это были худенький, белесый мальчик лет восьми и плотненькая, очень серьезная девочка.

Поравнявшись с Тоскиным, мальчик счел необходимым объясниться.

– Она отстала, – сказал он. – Она не знает, где столовая.

Девочка прямо и честно смотрела в глаза Тоскину. В этом взгляде был только один смысловой слой, и Тоскин подумал, что чуть позже, скажем в двенадцать, женский взгляд бывает куда более сложным. Мальчик шагнул вперед и заслонил девочку. Тоскину не хотелось, чтоб они уходили. И он спросил у мальчика:

– А ты... Откуда ты знаешь, где столовая?

– Моя мама – повар.

«Мама-повар, что ж такого?» – подумал Тоскин, но все в нем возмутилось против этого сообщения: значит, этот рыцарственно прекрасный тоненький мальчик с отважными глазами был сыном краснолицей поварихи, тыкавшей ему под нос свою непустышную грудь.

– Идем, – сказала девочка. – Мы опоздаем. И нам ничего не достанется.

– Достанется, – сказал мальчик. – Я тебе достану сколько хочешь еды.

– А я ее не люблю, – сказала девочка.

Он посмотрел на нее восторженно и сказал:

– Я тоже. Я никакую еду не люблю.

– Мы опоздаем, – сказала девочка. – И нас будут ругать.

– Тебя никто не будет ругать, – сказал мальчик надменно. И добавил для Тоскина: – Нам надо идти.

Он взял девочку за руку и повел ее, бережно и неторопливо.

«Черт его знает, может, оно и правда что-нибудь такое бывает», – меланхолически сказал внутренний голос Тоскина.

«Не морочь мне голову, – отозвался Тоскин раздраженно. – Не морочь мне голову и не втягивай меня в неприятности. Ничего такого не бывает, и мне как писателю это видней...»

Тоскин был исполнен самых благих намерений. Там, впереди, среди мерзости дождливой и холодной московской осени, его ждали неприятности, какие угодно – от ангины до безработицы, но сейчас он был наилучшим образом пристроен в живописном уголке Средней России (так он торжественно называл Подмоскovie), у него был свой угол, стол (о чем, как известно, только мечтать могла Марина Цветаева), он был не очень загружен и накормлен (повариха подложила ему сегодня даже лишнюю котлету, при этом, правда, она опять ткнула ему под нос свою незаурядную грудь). Короче говоря, у него были все условия для творчества, а тут

же, рядом, за стеклом его клетушки, за полупрозрачным в полдень портретом Дзержинского, гомонили его герои, разгуливал на природе его жизненный материал (на случай, если он надумает стать именно детским писателем). Тоскин вынул из стола бумагу и стал ловить ощущение. Приходили в голову разные слова, чаще других «истома», но должное ощущение не появилось. Зато появился звук. Звук был, скорее всего, женский. Он был жалобный и очень тихий. Звук мешал сосредоточиться. Хотя в нем, пожалуй, тоже была истома. Тоскин подумал, что все его попытки творить кончаются всегда одинаково. Он подумал также, что звук и истома могут оказаться реальными. Он решил, что творить он сможет только позже, еще лет через десять. Тогда уж ничто не отвлечет его, никакой женский звук. Никакая истома. Тоскин спрятал авто-ручку и пошел навстречу истома и звуку.

Он миновал гипсовую серебристую статую пионерки, поднявшей в пионерском приветствии непропорционально большую серебряную руку, потом направился к оврагу. Звук послышался снова. Он был жалобный, без сомнения, женский и, вероятно, все же реальный.

Тоскин пошел на звук и обнаружил строение, похожее то ли на амбар, то ли на туалет (в нашу эпоху упадка архитектуры не всегда можно с точностью определить назначение постройки). Надпись над дверями уточняла, что это пионерская сушилка. Тоскин затаился, подождал немного и снова услышал звук. Он исходил, по всей вероятности, от женщины, которой нужна была помощь. В то же время женщина кричала как бы и не очень охотно, не очень громко и внятно.

Положение Тоскина было сложным. С одной стороны, он, вероятно, должен был поспешить на помощь. С другой, его помощь могла оказаться нежелательной и даже излишней. В конце концов, это мог быть крик любовной истома и даже стон кокетства, широко распространенный как в нашей стране, так и за ее пределами, о чем свидетельствует, например, индийское наставление по любовному делу под названием «Камасутра»...

Тоскина разбирало любопытство. У него пересохло во рту от волнения, и, уступая всем этим эмоциям, он решил, что долг обязывает его хотя бы заглянуть в окна сушилки. Однако заглядывать следовало осторожно. В конце концов, долг не обязывал его нарушать чужое уединение. И вовсе не побуждал его подвергнуть себя опасности.

Тоскин прижался к стене и стал медленно двигаться в сторону окна. Наконец ему открылся нижний угол окна, и Тоскин увидел, что в темноте сушилки белеют женские ноги. Ноги были длинные и стройные. В ареале пионерлагеря они могли принадлежать только Вере Чуркиной, и Тоскин отметил, что это были красивые ноги. Впрочем, чтобы наверняка убедиться в принадлежности ног и в том, что им угрожает опасность, надо было продвигаться дальше. Тоскин проделал это с большой осторожностью. Он увидел ноги чуть выше колен. Потом еще выше. Еще... И со вздохом отступил – как ученый, который сумел расщепить чуть не весь этот чертов атом, но в последний момент отступил перед ядром. Выше, в самой уже невозможной высоте, синела очень короткая джинсовая юбочка. «Еще короче не могла?» – спросил внутренний голос Тоскина.

– Что с вами, Вера? – громко спросил Тоскин.

Вера заплакала.

– Я зашла в суши-и-илку... – сказала она, всхлипывая.

– Да, да. Вы зашли в сушилку...

– А они заперли дверь снаружи. Пионерки.

– Это подлость, – сказал Тоскин.

Теперь он мог появиться перед окном, не таясь. Вера стояла в полумраке сушилки, длинная, тоненькая и беззащитная. Она сделала шаг в сторону двери, и спина у нее выгнулась, руки и волосы плеснули вдоль тела. Она была беззащитная и безвольная. С ней можно было делать все, что захочешь. И даже Тоскину было ясно, что с ней нетрудно было захотеть.

– А почему вы не кричали? Ну-у... Не кричали как следует? – спросил Тоскин.

– Я стеснялась, – сказала Вера, – и потом, я не знала, что кричать...

– Это просто подлость, – сказал Тоскин, вынимая снаружи щепочку, заложенную в петельки дверей.

– Они всегда что-нибудь придумают, – сказала Вера.

Ее ноги белели теперь во всю длину в полумраке сушилки, и Тоскин снова подумал, что в ее незащищенности есть большой соблазн.

– Да, вы правы, – сказал он, – они изобретательны. Позднее это проходит...

Тоскин шагнул внутрь сушилки и внимательно осмотрел Веру.

– Нам велели разучить с отрядом пионерские речевки, – поспешно заговорила она, вдруг почувствовав угрозу. – Старший вожатый сказал, чтобы когда отряд идет, то чтоб выкрикивать речевки. Знаете, речевки... Очень надо речевки... У меня есть речевки...

Тоскин понял, что этим вот и ограничится ее сопротивление – речевки, надо речевки...

– Что ж, речевки так речевки, – сказал он, отступая назад. – А что это, собственно, такое – речевки? – С этими словами он освободил Вере проход. И подумал, что стареет. Будь ему меньше сорока, он, может, и поговорил бы для виду про эти речевки (да что это такое, в конце-то концов?), но тем временем продолжал бы делать все, что положено. А теперь... Теперь он даже толком не знал, положено ли это делать.

– Речевки – это такие стихи...

– Стихи – это по моей части, – сказал Тоскин, – я пойду с вами.

– Это такие стихи, чтобы в ногу, – продолжала Вера, шагая с ним рядом (Тоскин отмечал, как она выгибается на ходу, такая стройная, длинная и длинноногая, как плещутся ее волосы, а узенькая полоска джинсовой ткани едва-едва скрывает, но все же скрывает...) – Вот, например, вы идете в столовую, – лепетала Вера. – Раз-два – Ленин с нами, три-четыре – Ленин жив...

– А-а-а, где-то я это слышал... – сказал Тоскин, – может, во сне. Выше ленинское знамя...

– Да, да, – обрадовалась Вера. – Пио-нерский кол-ле-ктив... Но это простая. Эту все знают. Надо больше. А я достала методичку. Очень трудно достать методичку, лето, все хотят методичку, а там все, все что надо, все типы...

– Ну, раз все типы, может, я вам и не ну...

– Нет, нет, – испугалась Вера. – Что вы, там даже надо придумывать, там такое задание, чтобы придумывать, и если вы будете, то они не так будут...

– Они вас не запрут в сушилку, – сказал Тоскин. И добавил: – Нет, конечно, я буду очень рад с вашими ребятами...

И понял вдруг, что он действительно рад, очень рад, потому что он увидит сейчас эту девочку с припухлыми губами, мягким припухлым носиком и чистыми глазами, в которых удается прочесть так много.

– Ребята! – сказала Вера, усадив отряд на скамьях. – Все знают, что такое речевки?

– Раз-два, Ленин с нами! – закричал черненький мальчик. – Три-четыре...

«Нахал и всеобщий любимец, – ревниво подумал Тоскин, – прелестный, бестия. Вот и я был такой. Куда все девалось?»

И по здравом размышлении Тоскин признал, что любить его, пожалуй, больше не за что: он не прелестен, не пострел и не бестия, он – старая зануда и неудачник.

– Повторим эту речевку, которую все знают, – сказала Вера. – Будь готов!

– Всегда готов! – откликнулись пионеры.

– Будь здоров! – крикнула Вера.

– Иван Петров, – невольно сказал Тоскин и подумал, что это дурацкое занятие засасывает.

Впрочем, пионеры ответили как надо. «Всегда здоров!» – крикнули они дружно, и Тоскин позавидовал их здоровью.

– Повторяем за мной, – сказала Вера. – Три-четыре. Бодрые, веселые, всегда мы любим труд. Пионеры-ленинцы, ленинцы идут...

Тоскин отыскивал наконец глазами Танечку. Она была в новой пестрой кофточке. Она шепталась о чем-то со своей половозрелой подругой-блондинкой, и Тоскин испытал при этом двойственное чувство. С одной стороны, он ревновал. Он не доверял этой малолетке с четвертым размером груди. С другой стороны, ему было легче от того, что его Танечка не слушает сейчас Веру, что ее божественно вылепленные губы не повторяют за всеми «краснослеподпытскую» речевку.

– Итак, начали! – монотонно причитала Вера. – Левая половина: «Если нужно – завершим дело Ленина». Правая, мальчики: «Доберемся до вершин, нам доверенных». Левая: «Компас на ленинизм!» Правая: «Наша цель – коммунизм!» Левая: «На вершины брать равнение...» Правая, громче: «Гор-ны-е!» Так. Теперь я вам прочту, хотя это и для нас написано...

Вера открыла истрепанную методичку и стала читать скороговоркой:

– Сочинять речевку несложно. Обычно она представляет собой стихи или просто ритмический текст...

«Хорошенькое представление о стихах», – подумал Тоскин и вдруг напрягся, даже пристал: Танечка перестала болтать с подругой и теперь смотрела на него. В глазах ее было любопытство, кажется, даже благожелательное. Как в далекие, сладкие, почти забытые годы ранней юности, Тоскин пожалел о том, что у него нос чуть-чуть слишком длинный. Он смешался и сделал вид, что повторяет за Верой «космические» речевки:

– Нам везде с весельем нашим...

– Хорошо! Хорошо!

– Мы поем, танцуем, пляшем...

– Хорошо! Хорошо!

«О, черт! Вот заряд оптимизма! Но что же делать?» – маялся Тоскин, замечая, что Танечкины губы стали шевелиться вслед за его губами, точно она повторяла за ним пушкинские строки.

– «Всем ребятам на потеху», – зачитывала Вера. – И – все вместе: «Ха-ха-ха!» – «Пустим мы ракеты смело – ха-ха-ха!» – «Поднимается ракета! – Ш-ш-ш». – «Полетели до планеты – ж-ж-ж». – «Чертим небо ярким светом – з-з-з». – «Прилунилася ракета – бум-тра-та-там». И теперь все вместе, ребята: «Ура-ра-а!» Вот тут еще... – Вера добросовестно листала методичку. – Вот тут сказано, что пионеры сами могут придумывать речевки с традиционным зачитыванием. Все поняли? Например: «Раз-два, смело в ногу...» Дальше? Кто дальше?

Черненький чертенок вскочил и крикнул, глядя на Тоскина:

– Честь и слава педагогу!

Все смеялись, но смех был добродушный.

– Повторим! – сказала Вера. – Раз-два. Смело в ногу!

И все повторили про педагога. И все смотрели на Тоскина. А Тоскин смотрел на Танечку и видел, что губы ее шевелятся. И он понял, как трудно устоять даже против такой совершенно идиотической лести.

– Знаете, друзья... – сказал он растроганно, – завтра вечером, если у вас будет время и если вожатая вам позволит... Завтра вечером мы начнем заседания литературного... э-э-э...

– Кружка, – подсказал черненький.

– Да, пусть так... Мы будем читать стихи...

– Эти самые? – спросил чертенок.

– Есть ли желающие посетить... посещать...

Тоскин со страхом смотрел в Танин угол. Рук было много, и Таня подняла длинную ручку. Ее половозрелая подруга тоже подняла руку, и Тоскин отметил при этом, что под-

мышка у нее была влажная. Он отвел глаза и оправдал себя тем, что писатель должен все замечать. Тем более детский.

* * *

Директор поймал Тоскина на дорожке. Они пошли рядом, и директор стал говорить, очень медленно и значительно, стараясь найти верный тон, потому что, с одной стороны, Тоскин был подчиненный, а директор был как бы командир, слуга царю, отец солдатам. Долгая служба в армии, точь-в-точь как аристократическое происхождение, дает офицеру твердое сознание своего превосходства и хамоватую простоту в обращении с быдлом. С другой стороны, директора все время мучило воспоминание о том, что он уже больше не в армии, что это свой брат педагог (потому что они же тут все, черт возьми, педагоги, он тоже теперь педагог), и еще о том, что Тоскин здесь единственный (сторож и физкультурник не в счет), кроме него самого, взрослый мужчина – нельзя же его так же, как Славика или этого, второго, как его, чуть не допризывника...

– Как у вас, Кстатин Матвеич, дела? Идут дела? Ну и отлично. Надо вот что...

Директор остановился, и голос его приобрел чрезвычайную серьезность. Борясь с неодолимой робостью, которая его всегда охватывала в присутствии начальства, Тоскин принял натушно непринужденную позу. Чтобы поддержать эту позу сколько можно, он через плечо начальника читал тексты на плакатах и стендах, украшавших главную аллею лагеря – от самых ворот и будки часового (точная копия армейского КПП) до столовой: «Огни пятилеток! Эпоха чудес! Мужал комсомол, возводя Днепрогэс». Дальше следовали весь перечень чудес и стихотворное же резюме: «Дела комсомола, его свершения – это революции продолжение».

– Я вот что хотел, Кстатин Матвеич, – сказал директор басовито-интимно. – Надо будет к открытию лагеря композицию подработать. На высоком идейно-политическом. И без отстающих. Могут из района приехать товарищи, так что уж вы подключитесь, пожалуйста. Вера Васильевна и Валентина Кузьминична из своих подразделений тоже выделяют личный состав, а вы проследите. Конечно, старшие лучше в этой обстановке, тем более что Вера Васильевна, знаете, замечательное достала наставление, так что осталось только в рот положить. Уж вы сконтактируйте с ними, пожалуйста, и подключитесь. Понято?

– Понято, – бодро сказал Тоскин, сам поражаясь своей лингвистической гибкости.

– Действуйте! В добрый путь, как говорил наш начальник ГСМ. А я еще пойду по делам...

– И директор энергично зашагал к столовой.

Тоскин столь же энергично двинулся в боковую аллею и только здесь, оказавшись в тени фанерных щитов с житиями пионеров и живых деревьев, позволил себе расслабиться, предаться обычной меланхолии, которая с неизбежностью привела его к любимому занятию – чтению. Всего, что попадает на глаза. Он очутился на аллее героев-пионеров, где со щитов, окаймлявших ее, глядели на него младенчески-суровые, а иногда и старообразные лица маленьких героев и мстителей. На первом портрете красовался, конечно, Павлик Морозов, подвиг которого был описан на отдельном стенде рядом: «Не колеблясь, Павлик разоблачил родного отца, когда узнал, что тот сочувствует кулакам. Имя героя-пионера Павлика Морозова первым занесено в “Книгу почета пионерской организации”». Тоскин подумал о том, что его безволие и профессиональная привычка читать всякий текст сделали его первым и последним читателем этих неуклюжих текстов, которые наверняка не замечают ни пионеры, ни их родители. («И напрасно, – подумал Тоскин, – родителям эта история про малютку Павлика могла бы особенно полюбиться»). Со следующего стенда на Тоскина сурово глядел пионер Руслан Карabasов. Юный мститель собственноручно поджег избу, в которой ночевали пятьдесят («Почему не сто пятьдесят?» – удивился Тоскин) немцев. Ни один из захватчиков не вышел живым из

помещения. Пионер был замучен насмерть, но не сказал ничего. Умирая, он плюнул в лицо офицеру...

– Дядя, а вы мою маму не видели? – спросил тоненький детский голос.

«В твоё время, мальчик, – прогнусавил внутренний голос Тоскина, – люди уже, вон, избы с живой силой перемалывали, а ты все: мама, мама – как маленький».

– Меня зовут Константин Матвеевич, – сообщил Тоскин, невольно загораживая телом историю Руслана Карабасова.

– А меня Сережа, – сказал мальчик. – В столовой её нет. Тети сказали, что она пошла к директору. Но я не знаю куда. А вы не знаете, куда пошел директор?

– Куда-то туда... – сказал Тоскин, поведя рукой, как некий меланхолический Сусанин. – Он мне не сказал... А зачем тебе мама? Может быть, я смогу тебе помочь?

– Мама мне действительно ни к чему, – серьезно и печально сказал Сережа. – Просто я хотел ей сказать, что мы с Наташей решили друг с другом пожениться. Я не знаю, должен я ей сказать или не должен? Наверно, вам нельзя вместо нее сказать?

– Наверно, нельзя, – сказал Тоскин. Потом спросил, не удержавшись: – А зачем вы хотите пожениться? Я вот никогда не хотел пожениться.

– Ну, вы взрослый, – убежденно ответил Сережа. – А мы хотим пожениться, чтоб всегда играть вместе. Просто по дружбе. И чтоб жить вместе, когда первая смена кончится, потому что у Наташи путевка на одну смену. Чтоб всегда жить вместе. Потому что мы дружим. И чтоб друг друга защищать, а то мальчишки очень щипают девочек.

– Ты будешь её защищать?

– Да, я всегда буду её защищать. Но она тоже меня очень хорошо защищает, вы не думайте, она очень сильная...

Сережа вдруг исчез. Тоскин огляделся, поискал... Ни под щитом, ни за щитом мальчика не было. Даже в кустах его не было видно. Зато обнаружилась причина, по которой он исчез: по аллее героев энергично шагала Валентина Кузьминична.

– Мальчика не видели? – спросила она, тяжело дыша.

– Какого мальчика? – невинно спросил Тоскин.

– Стала пересчитывать, не хватает одного мальчика. Как дети персонала, так одна мороза...

Широкий круп Валентины Кузьминичны исчез за кустами, и Тоскин решил поскорее укрыться в своем логове, где он сможет предаться литературным занятиям. Под литературными занятиями Тоскин понимал спокойно-мечтательное бдение среди книг и бумаг в праздных размышлениях, фантазиях и мечтах. Иногда Тоскин при этом читал, еще реже начинал вдруг набрасывать что-то, какие-то планы, отдельные стихотворные строчки, однако чаще он все же просто лежал и думал о том, как его литературный герой, или даже не герой, а просто он сам, Тоскин, отправился, к примеру, пешком по горной дороге в незнакомый кабардинский аул – он и на самом деле чуть-чуть не сделал это однажды, находясь проездом в Кабарде, однако все же не сделал, не пошел, просто присел, помечтал у развилки, на окраине Нальчика, потом, отметив командировку, вернулся домой – так вот, там, в ауле, к нему подошла горянка, скорее, горец, потому что горянки эти, кажется, очень дики и застенчивы, но, в конце концов, у этого горца наверняка была сестра, и вот ночью... Вообще, с этими кабардинцами шутки плохи, но в конце концов, если успешно повести дело, все могло бы кончиться успешным браком, и теперь у Тоскина было бы по крайней мере три маленьких весьма забавных кабардинца, которые... Чаще всего Тоскину представлялся летний визит, во время отпуска, в этот кабардинский аул, где растут под надзором супруги его трое сорванцов – не в городской же клетушке их содержать – и где уважительная родня встречает Тоскина у околицы (слово явно не подходящее, а как же надо?), громко крича по-кабардински (как это, кстати, по-кабардински?) и по-русски, ну что-нибудь такое уважительное: например... «Честь и слава педагогу!»

Какие-то тени прошелестели на улице, по ту сторону Дзержинского. Тоскин привстал. Это были два мужчины, скорей всего Слава и Валера. Да. Послышался Славин голос:

– Давай еще пузырек и – в баню...

Тоскин притаился за портретами. Он решил не зажигать свет. Ему пришла в голову замечательная мысль: если сдвинуть стол, то он, пожалуй, уместится здесь на полу. Надо только перенести матрац из общей комнаты, где ему отвели койку вместе с Валерой и Славой. Выглянув из своего укрытия и убедившись, что горизонт чист, Тоскин совершил перебежку до ближайшего корпуса. И вдруг замер. Тоненькая фигурка медленно передвигалась вдали, на фоне еще светлевшего горизонта, по единственной безымянной аллее лагеря, которая вела от спрятанного в зарослях деревянного туалета до отрядных финских домиков. Фигурка была и тоненькая и мягко-припухлая в одно и то же время, ее неясные контуры сливались с сиреневыми сумерками, – казалось, еще немного – и она растает, растворится в сумраке, – и, словно испугавшись этого, Тоскин быстро пошел ей навстречу, потому что он уже узнал по каким-то ему еще самому неведомым признакам, он скорее не увидел, а почувствовал, что это была она, девочка Таня из отряда Веры Чуркиной. Тоскин успел выйти на аллею прежде, чем она поравнялась с ним, и сказал, тяжело дыша: «Добрый вечер, Танечка!» Девочка поздоровалась, взглянула на него пристально, с длительным любопытством, и Тоскин, смешавшись, уже готов был спросить первое, что пришло ему на ум: «Откуда вы?» – и остановился вовремя, потому что это могло бы смутить девочку, это могло бы все испортить, ибо она была уже не так мала, но и не так еще искушена, чтобы ответить с трогательной непосредственностью, что она ходила пописать перед сном, – да и вообще Тоскин был убежден, что непосредственность эта во всем, что касается физиологии, была не наша, не серединная, а с Запада или Востока и она еще не прижилась, еще не пришлась нам по душе...

Девочка сама выручила Тоскина, сказав с тоскливой жалобой:

– Уже отбой. Спать надо идти, так не хочется – сейчас свет погасят и даже читать не разрешат, хоть бы случилось что-нибудь такое, какая-нибудь авария – чтоб не спать...

– Да-да, – сказал Тоскин, оживляясь. – Мне всю жизнь было страшно досадно – а в детстве я плакал, – страшно досадно, что день уже кончается, что сегодня уже ничего не будет, а непонятливые взрослые утешают тебя завтрашним днем, но ты ведь еще хочешь жить сегодня... Это как религии тебя утешают, одни загробной жизнью, другие новым рождением, реинкарнацией, а ты еще хотел бы этой жизни... И еще так же обидно бывает в дороге, когда сгущаются сумерки, а ты идешь и хочешь идти дальше, дальше, только что разохотился... Или ты пришел в новый город и хочешь открыть его, но уже стемнело, пустеют улицы, нет машин и нет людей. И все потеряно до утра, но ты еще надеешься на приключение... Вот я был однажды в командировке на Кавказе, в Нальчике. Я стоял на дороге, ведущей в кабардинский аул...

Танечка и Тоскин свернули с безымянной аллеи на пустынную аллею героев-пионеров, и Тоскин, загораясь, стал рассказывать о кабардинском ауле, мешая свои впечатления от поездки со всем, что нагромоздилось в одинокие часы его литературных занятий, что он вычитал в книжках, а также со строками стихов, с давними химерами... У него не было угрызений совести, ибо вдохновение наконец посетило его, ибо это и было, в конце концов, его литературным досугом, – а бумага, что ж бумага, и кому нужны эти горы бумаги, какому читателю (для тупого – достанет макулатуры, жадно им поглощаемой, для утонченного – понаписано так много в золотые века искусства), а сейчас, в это мгновение, был перед ним самый главный его слушатель-читатель, самый трепетный, самый желанный... Итак, путешествие привело Тоскина на край горной пропасти, где его новый друг-кабардинец осадил своего коня, чтобы, спешившись, представить ему сестру-горянку. Танечкины зрачки сияли в незамутненной чистоте, расширенные любопытством, испугом, иногда страстью; они были сейчас даже более зрелыми, чем ее налитое негой тело девочки-акселератки из благополучной части этого континента. Она вдруг

остановилась, присела на корточки и легко, едва ощутимо, тронула Тоскина за колено, от чего ноги у него задрожали какой-то забыто-сладкой дрожью...

– Вот, – сказала она, – репей.

Она хотела выбросить репей, оторванный от его штанины, но Тоскин протянул за ним руку с бессознательной надеждой коснуться ее руки, получить первый реальный знак того, что с ним случилось сегодня, чтобы сделать потом воспоминание и осязаемым и надежным, – как поступали издавна герои сказок, от всесветного дурака, хватавшего за хвост птицу счастья, до зарубежного принца, прижимавшего к груди хрустальный башмачок... И ему посчастливилось, он ощутил самым краем ладони мягкое тепло ее руки, очень теплой и очень мягкой, а потом девочка встала, повернулась и побежала прочь: то ли он спугнул ее, то ли она ждала этого прикосновения и вот – дождалась... Остановившись у края аллеи, она сказала:

– Ой, уже корпус закрывают. Пока-пока...

В этом глупом панибратском «пока-пока» было признание их уже совершенно не лагерных, не официальных, а каких-то особенных, своих отношений, и Тоскин медленно побрел за матрасом, спрятав на груди репей и лелея драгоценное воспоминание о последнем ее прикосновении, о ее силуэте в сиреневых сумерках, о собственных фантастических приключениях в Кабарде, обогатившихся ныне подробностями.

Девочка была так трогательно, так несказанно, так неприкасаемо хороша, что Тоскин мог бы сейчас... Да, он мог бы сейчас совершить что угодно ради нее и ради продолжения этой вот бессмысленной прогулки со всеми ее неожиданными репьями и кабардинскими эскападами. «Что же это? – в смятении думал Тоскин. – Что же?» И ответ пришел сам, пугающе логичный, подкрепленный тысячей примеров и множеством авторитетных источников – от шлягеров Сигизмунда Каца до шлягеров Зигмунда Фрейда: это вот ужасающее преувеличение достоинств женской особи, это вознесение ее на пьедестал неприкасаемости, это отчаянное нагромождение препятствий в виде разности уровней (истинной или мнимой, все равно), этот удушающий прилив благодарности – все это и есть любовь...

Это было безумно, безнадежно, неуместно и недозволенно, но Тоскин понимал, что именно эта безнадежность и является (во всяком случае, для него) основанием и залогом столь неоправданного, столь абсурдного и столь долгожданного чувства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.